

тайный *архив*

*Посвящая моей сестре  
Марине Цветаевой*

*Анастасия*  
**Цветаева**  
*Воспоминания*

---



Издательство АСТ  
Москва 2019

УДК 821.161.1-94  
ББК 84(2Рос=Рус)6-4  
Ц27

Все права защищены.  
Любое использование материала данной книги,  
полностью или частично, без разрешения  
правообладателя запрещается.

*В книге использованы фотографии  
из фондов Дома-музея Марины Цветаевой*

**Цветаева, Анастасия Ивановна.**

Ц27 Воспоминания / Анастасия Цветаева. — Москва: Издательство АСТ: ОГИЗ, 2019. — 560, [32] с.: ил. — (*Тайный архив*)

ISBN 978-5-17-111892-1

«Воспоминания» Анастасии Цветаевой содержат поистине бесценный материал о семье создателя ГМИИ им. А.С. Пушкина профессора И.В. Цветаева. Детство Анастасии и ее сестры Марины, показанное в книге с искренней теплотой, являлось и самым счастливым временем их жизни. Насыщенное трогательными мелочами быта, повествование разворачивается на живописном фоне мест, где жили Цветаевы — в России, в европейских пансионах. И, конечно, главными людьми для сестер в ту пору были родители — мать, талантливая пианистка, и отец, беззаветно преданный своему музею.

**УДК 821.161.1-94  
ББК 84(2Рос=Рус)6-4**

ISBN 978-5-17-111892-1

© Дом-музей Марины Цветаевой, 2019  
© ООО «Издательство АСТ», 2019

ДЕТСТВО



# ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. РОССИЯ

## ГЛАВА 1.

### ФОТОГРАФИЯ. ИЗ МАМИНОГО ДНЕВНИКА. ПЕРВОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ МУСИ В МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ. РАННИЕ ВОСПОМИНАНИЯ. ГОЛОСА МОСКВЫ. ШАРМАНЩИК

В моей памяти — унесенная жизнью фотография четырехлетней Муси, двухлетней Аси.

Большелобое, круглое лицо старшей, на котором вспыхивают мне зеленую, в сером тоне фотографии, глаза Марины, взрослый взгляд на детском лице, уже немного надменный сквозь растерянность врожденной близорукости.

Взгляд чуть вбок — на сверкающее на тонкой цепочке граненое сердечко не е е, а маленького существа рядом.

Объектив фотоаппарата поймал это мгновение: полыхнувшее к чужому — аметисту ли, хризолиту? — как мотылек к свече.

И лицо рядом, — младенческое, детские губы, своей мягкостью оттеняющие твердый, волевой абрис тех; волосы, чуть вьющийся пушок. Родственное сходство черт.

Первое воспоминание о Марине. Его нет. Ему предшествует чувство присутствия ее вокруг меня, начавшееся в той мгле, где родятся воспоминания.

Давнее, как я, множественное, похожее на дыхание: наше «вдвоем», полное ее, Мусино, старшинства, своеволия, силы, превосходства, презрения к моей младше, неумениям и ревности к матери. Наше «вместе» — втроем, полное гордости матери своим первенцем, крепким духом, телом и нравом; полное любования и жалости к младшей, много болевшей.

В этом жарком течении плыло наше детство.

Марина родилась 26 сентября 1892 года в Москве. Я — 14 сентября 1894 года там же.

Когда меня еще не было на свете, в детской стояли две кровати: Андрюши, круглобрового, кареглазого, и его сводной сестры Муси, круглолицей, с русыми волосиками и глазами цвета крыжовника.

Мама Мусю не смогла кормить. Ей взяли кормилицу. Мусина кормилица была цыганка, нрав ее был крутой. Когда дедушка, мамин отец, подарил ей позолоченные серьги, она, в ярости, что не золотые, бросила их об пол и растоптала.

В мамином дневнике много лет спустя мы прочли: «Четырехлетняя моя Маруся ходит вокруг меня и все складывает слова в рифмы, — может быть, будет поэт?».

Крестная мать Муси, Надежда Александровна Сытенко, красавица, светловолосая и синеглазая, жившая недалеко от нас в Мамоновском переулке, пригласила к себе крестницу. В комнатах со шкурами зверей на полу, с зимним садом и летающими птицами мама сказала Мусе: «Ничего не трогай, не урони со стола мелочей». Вскоре четырехлетняя Муся, молча, громко дыша от натуги, перетащила через комнату тяжелое кресло. На всеобщее удивление она отвечала, что мама запретила ей трогать мелкие вещи. «Приходи, Мусенька, — звала в конце визита Надежда Александровна, — у нас твои любимые конфеты, комнаты большие, есть где побегать...» — «Комнаты и у нас большие, — ответила Муся со вздохом, — а вот конфеты у мамы заперты...»

Рассказ мамы о первом Мусином театре: в антракте, в ложе Большого театра, не перегибаясь через ее край, думаю, от страха глядеть вниз, а может быть, от природной близорукости не видя ничего, кроме края балкона, Муся, наслаждаясь апельсином, сосредоточенно отколупывала сильными пальцами тугую золотистую шкурку и кидала ее вниз, в партер.

Мнится мне, что мое самое раннее воспоминание — солнечный, сииий день, наш переулок (Трехпрудный), я стою на скамеечке, врезанной в нишу рядом с воротами. Няня поправляет синюю вуальку, спуская ее на лицо от очень яркого солнца и слепящего снега. На мне белая шубка, тоже сверкающая. От этого сверкания и синевы — чувство счастья.

Мне было год четыре месяца, когда мама повезла фотографировать меня на Кузнецкий мост, к Фишеру<sup>1</sup>.

Записей о нас было в мамином дневнике много, но — все книги дневника погибли. Записи привожу по памяти. Не раз вспоминала мама смешной случай: она ехала со мной лет трех на конке. На остановке кондуктор крикнул: «Кузнецкий мост!» — «И вечные французы!» — добавила я. Раздался смех пассажиров, оглядывались — взглянуть на младенца, цитировавшего «Горе от ума».

Еще из маминого дневника: мы (пять лет и три года) играем — Муся продает, я покупаю.

<sup>1</sup> Ныне — переулок Садовских.

— Па цём? — спрашивает Ася.

Муся: Я — задаром продаю!

Ася: Как дорого!

Марина росла, как растёт молодой дубок.

Андрюша (наш сводный брат, старше Муси на два года) был выше ее, но она с ним справляется, она сильная. (В пылу драк каждый из нас имеет свою специальность: Андрюша «щипается», Муся кусается, а я царапаюсь.)

Муся хвасталась умениями, недоступными Андрюше и мне: складывать язык трубочкой, шевелить ушами и разводить веером и двигать по желанию пальцами на ногах. Мы очень старались, не выходило, смотрели на Мусю с почтением и завистью.

Детская. Вечер. Нас троих одевают куда-то, к кому-то, Мусины русые волосы распущены, чья-то рука их связывает лентой. Ее светлые зеленые глаза, с немного высокомерным взглядом, блестят — она сейчас будет дразнить или что-то выдумывает. Но сейчас — некогда. Обе наши головы нетерпеливо, как кони от мух, отмахиваются от надеваемых на нас кружевных, больших, по плечи, крахмальных воротничков, нашей муки. Андрюша уже готов. На нем коричневый костюмчик, а на мягком поясе — фарфоровая пряжка с нарисованной головкой маркизы. Он очень хорош. Я люблю его большими карими глазами, круглыми бровками. Но Муся, лицо которой я не могу воспринять отдельно от себя, как воспринимаю Андрюшино, — родней, нужнее, неотъемлемее: это сама я, мы.

Другой вечер — в музыкальной школе В. Ю. Зограф-Плаксиной в Мерзляковском переулке. В ученическом концерте выступила учившаяся там Муся. Ей было семь лет. Мать учила ее с шести или пяти: рука была большая, способности же ее были — праздник для мамы, страстного музыканта и прекрасной пианистки. Детство наше полно музыкой. У себя на антресолях мы засыпали под мамину игру, доносившуюся снизу, из зала, игру блестящую и полную музыкальной страсти. Всю классику мы, выросши, узнавали, как «мамино» — «это мама играла...». Бетховен, Моцарт, Гайдн, Шуман, Шопен, Григ... Под их звуки мы уходили в сон.

И вот — первое выступление Муси! Когда я увидела ее на эстраде, с распущенными по плечам русыми волосами, собранными надо лбом, под бант, в платье в мелкую зеленую, черную и белую клеточку, со спокойным, как будто ленивым достоинством сидевшую, как взрослая, за роялем и, не обращая внимания на зал, глядевшую на клавиши; когда я услышала ее игру и всеобщую похвалу ей — сердце раскрылось такой нежностью к старшей подруге игр, так часто кончавшихся дракой, — что я иначе не могу назвать мое чувство в тот вечер, как состоянием влюбленности.

Я никого, кроме нее, не видела. Я не сводила с нее глаз.

Я не понимала, как до сих пор не видела ее такой, не восхищалась и не гордилась ею. Старшие потом говорили, что, равнодушная к залу, чувствуя только рояль и себя, она начала было привычно считать вслух: «...раз и два, и» — но, увидев знаки Валентины Юрьевны или мамы, стала играть без счета.

Дома, ночью, я помню ее все такую же, широкое, высоколобое родное лицо, глаза — цвета крыжовника, победные и немного насмешливые.

Я не знала, чем выразить нежность и как удержать ее в грубости детских буден, ссор и всего, что придет завтра. Это завтра пришло. Тот вечер — в сердце каким-то цветением радости...

Мы идем — няня и я — по Патриаршим прудам. Справа пруд за изгородью. У няни в руках оловянная птичка. Она купила ее своим племянникам Коле и Ване. Боль расставания с птичкой еще сильнее от безысходности: хотеть ее себе, когда Коля и Ваня ждут ее, — нельзя. Тусклый блеск олова, очертания птицы томят меня нестерпимо! Няня меня уложит и унесет птичку — им...

С Мусей и няней я сижу в их детской у стола под висячей лампой с большим плоским, снизу белым, кругом. Мы перелистываем картонные листы книги, перерезанной на три части; собираем странное существо с головой, например, гуся, туловищем почтальона с сумкой и ногами девочки в башмачках, или — голова мальчика, туловище птицы, лапы кошки. Сочетаний было множество, интересу не было конца и восхищению, как ловко и точно были пригнаны очертания фигур друг к другу.

Из игр того времени помню еще — блестящие листы плотной бумаги, которую надо было равномерно зачеркивать карандашом: и тогда на глянце проявлялись затейливые рисунки — пара овечек, девочка с корзинкой, домик с деревьями.

Другая игра состояла из мягких, гнущихся медных листов с узкими вырезами. Держа лист на бумаге, надо было обводить карандашом вырезы — и на бумаге получалась картинка. Но едва ли не чудеснее всего были китайские или японские цветные, будто бы деревянные или соломенные, легкие на руке кусочки: бросишь в блюдце с водой — расцветают в китайских человечков, в цветы, зонтики, веера. Их, как лакомство, нам совала старшая сестра Лёра, любившая все красивое и необычное, в минуту, когда надоедало вешать на края таза бумажки — «желанья», к которым подплавлял горящий огарок в ореховой скорлупе, или когда после сидения в платяном чулане (мамино наказание) было так трудно жить.

Уж прискучили сияющие феерической зеленью, фиолетовые с розовым и серебряным блеском (лопаются все, не удержишь) мыльные пузыри! И в миг, когда звали — есть, спать, — мокрое дно блюдца расцветало волшебной китайской жизнью ослепительных цветных миниатюр...

И еще были игры с магнитом. Он был колдовской. Его приносил Андрюша. И было имя — его кто-то сказал: «Математик Магницкий»...

Кажется, еще целую жизнь проживи, не забудешь вкуса, запаха и уюта крошенных в блюдечке теплого молока калача или булки. И никогда, — думаю, ни одного разу за жизнь, — не было, чтобы сочетание молока и белого хлеба не вернуло память к тем дням, к тому часу детского отхода ко сну.

Из раннего детства помню еще вечера в зале с Августой Ивановной, высокой немкой с пучком на макушке, наш бег в такт подпеваемой нами песенке:

*Fuchs! Du hast die Gans gestohlen,  
Gib sie wieder her!  
Sonst wird dich der Jager holen  
Mit dem Schie? gewehr.*

(«Лиса! Ты украла гуся, отдай его назад! Или тебя достанет охотник своим ружьем»)

И любимая песенка Августы Ивановны:

*Ach, du lieber Augustin,  
Augustin, Augustin!*

Глупый, подмигивающий, веселый мотив.

Как-то лепится к этому вечеру другой. Мне мало лет. Зала. Мама у себя. Я одна. За окнами (ставни еще не закрыты) несутся санки. И я говорю себе: «Бояре проехали...» Позже кто-то пробовал разубедить меня, доказать — тщетно. Так я навсегда запомнила, что жила в старину боярскую, потому что бояре проехали мимо окон залы, где я была...

Но еще давнее — еще более странное — воспоминание: я, крошечная, одна хожу по нижним комнатам дома (зале и передней) с новым ощущением о с о т р а дома, з н а к о м с т в а с ним. В радостном сознании переезда откуда-то, обретения, новизны. Что это было? Никакая объективность не подтверждала чувств того утра: в этом доме я родилась, из него выезжала только в Тарусу. Может быть, именно оттуда приехав и подростки за лето, я вдруг осознала и увидела наш дом...

Как вычеркнуть из памяти, из сердца бродячих друзей, красивших жизнь? В однообразии хоть и милых, детских буден они врываются криком своим так внезапно, и с ними шло — волшебство. Эти крики у каждого на особый мотив.

— Мо-че-ные я-а-блоки... Яблоки моче-ны... — И когда, мытые-перемытые, они к нам попадали — какой чудный вкус. Какой винный запах.

Был другой крик: «Костей! Тряпок!» И хоть он совсем к нам не относился — мы и его встречали, как доброго друга, и бежали к окнам. Он входил, широким, вельможным жестом кидая калитку, худой, плечистый, в сером халате, татарин; шапочка его держалась на макушке чудом, потому что он шел, задрвав голову кверху, и редкая — у всех них та же — борода прыгала в такт, по мосткам. Нам говорили (горничные, няни), что они все — князья, и мы, не понимая, что это, смотрели на них еще неотрывнее, силясь понять (от объяснений, что такое «князь», дело не становилось понятней).

А еще милей — был точильщик, когда, пройдя к черному ходу, сняв с плеча свой нелегкий станок, он, окруженный голубьями, начинал точить вынесенные ему ножи, блеща ими, как птичьими крыльями, пробуя их на палец, шутя с горничной (в шали, подрагивавшей от осеннего холода или мороза). И мы выбегали, неся свои заветные — перочинные, глядя, как вертится колесо, — день замирал, как заколдованный, и расставанье было нелегко!

Но из всех голосов, врывающихся так в наш день, всего родней и нужней — был голос шарманщика. О, за него, летя с лестницы, не слушая мадемуазель или фрейлейн, мы готовы были на вечное наказание! Яростно вдевая руки в подставленные нам рукава пальто, мы задыхались, пока нас застегивали, топотали на месте, как кони, и когда дверь черных сеней, провизгнув свою обычную жалобу, пропускала нас во двор — мы всем существом рушились в мелодический дребезжащий разлив шарманочных звуков, подступающих, подмывающих, как море — песок, забыв нацело то, что было за минуту, не желая ничего, кроме — слушать и слушать волшебную неуклюжиху на одной ноге с одной вращающейся рукой, — и уйти вместе с ней со двора... Что? «Пой, ласточка, пой...»? Конечно! «Варяг»? Нет, до него — до японской войны — оставалось еще пять лет. Вальс «Дунайские волны», быть может?.. Музыка была, верно, невысокого качества, но, на наше детское ухо и страсть к мелодии, — расстроенность шарманки искупалась мелодией нацело, и ее приход — с попугаем или без — был праздником. Где кончили, при рождении граммофонов и радио, свой сказочный век эти драгоценные ящики, бродившие с куском музыки по всей земле?

## ГЛАВА 2.

### БУРСКАЯ ВОЙНА. ДЕЛО ДРЕЙФУСА. МАМИНЫ РАССКАЗЫ. ПУШКИН

К ранним воспоминаниям просятся отзвуки жизни, где-то шумевшей по шару земному и долетавшей до детских ушей: война англичан с бурами; негодование старших, в их разговорах, о жестокости англичан, о героизме доблестного маленького народа. В те дни вся бумага в доме

была изрисована нашими изображениями воюющих (лучше всех, как старший, рисовал брат: длинные англичане с трубкой в зубах и маленькие буры в широкополых шляпах). Мы страстно жалели буров. Шаржи на королеву Викторию переходили из рук в руки: маленькая, толстая, носатая, с короной на голове.

Дело Дрейфуса! Сколько бесед, сколько волнений! Протест против неправоты к нему, невиновному и преследуемому. Мы, дети, ненавидели угнетателей, ждали победы добра...

Сенсация иного рода — был слух о маньяке, длинной кривой иглой взрезавшем на улице кишки прохожим. Джек Потрошитель! Кто не помнит это страшное имя! Мы шептались о нем в детской, надоедали им маме.

Дошел и до нас рассказ о приехавшем в Россию персидском шахе: он восхитился красотой европейской музыки, услышав, как настраивают инструменты перед началом оперы.

Дело Дрейфуса, бурская война. Как сжималось от этого сердце! И как оно ширилось, наполнилось от картинки с головой сенбернара и рассказа мамы о том, как над Сан-Готардским перевалом, где потом, чудом каким-то, была проведена железная дорога (мама проезжала там с бабушкой), монастырские собаки ищут сбившихся с пути. Громадные, длинношерстные, добрые сенбернары находят замерзающих, отрывают их из снега, и если путник очнется, суют ему к лицу бочонок с ромом, привязанный к их ошейникам. Если же человек без сознания, — сенбернары бегут и зовут людей, и те, с веревками, носилками, фонарями, пускаются в путь по горам.

Мамины рассказы! О чем? О чем только не!!

О старом короле Лире, изгнанном дочерьми, которым он отдал корону и царство, о его ночи под грозой в поле... О молодом Людовике Баварском, любившем луну и пруды, музыку, отрекшемся от престола, поселившемся в лесу, во дворце Бург, жившем ночью под музыку Вагнера — театр и оркестр, — а днем спал. Он утонул в озере (или бросился в него). Мама с бабушкой плыли по этому озеру на лодке. Мама, сняв с пальца кольцо, опустила с ним руку в воду, разжала руку — и оно, замедленное водой в падении, ушло, затонув, в глубину... Это мы понимали!

И вот в какой-то час наш пришел е е час воспоминания, как она узнала об этом — из книги, некогда, или от своего учителя: фигура Сократа. Его философия. Слова: «Я знаю, что я ничего не знаю». Суд. Чаша яда. Мужественная, горькая смерть. О том, как доложили Людовику XVI, что на улицах Парижа — толпы, что идут в Версаль, кричат: «Долой короля!», что войска переходят на сторону народа... Следующие слова запечатлелись в мозгу ужасом и восторгом.

— *Mais, mais... c'est une revolte cela!* — сказал король Франции.

— *Non, Sire*, — отвечал приближенный, медленно и торжественно, — *c'est la Revo-lu-ti-on!*<sup>1</sup>

Со страстной любовью к отцу своему мама рассказывала о путешествиях с ним за границей, о поездке по Рейну, реке легенд, текущей меж гористых берегов, о старых замках на утесах, о местах, где пела Лорелея. Мы уже знали о ней знаменитую немецкую песнь Гейне. И родным сталовился зеленый пенный Рейн.

Муся уже читала мамины детские книги — три тома «Детского отдыха» с трогательными, захватывающими рассказами, «Задушевное слово», четыре тома чистяковского собрания рассказов — «Зима», «Весна», «Лето», «Осень». Как в тумане, мне помнится заглавие «Лето в Ревеле». Был рассказ «Охотник Степан»: о его гневе на верного друга, собаку Дружка, укравшую окорок, закопавшую его в лесу; следуя поверью, что положенный на сонную голову платок (с намерением узнать снящийся сон), затем переложенный тебе на голову, повторит тебе этот сон, — Степан увидел сон Дружка и решает расстаться с ним — за измену. Но в тот миг, когда, продав своего многолетнего друга — пса — другому охотнику, он стоит у отчаливающего парохода и Дружок, по няя в, завыл и стал рваться с цепи в воду, — Степан понял, что изменник не Дружок, а он, Степан, и был готов все отдать за Дружка, но пароход уходил, и Муся глотала слезы, я ревела под мамино чтение, и разлука их, человека с собакой, неисцелимая, так и протащилась с нами на всю жизнь.

Был рассказ: бедная мать, отдавшая богачам крошку сына, через годы приходит к нему в гости — радостно, купив на последние гроши дешевую игрушку. Барчонок чуждается незнакомой, плохо одетой женщины, не глядит на ее подарок. С того дня мы понесли с собой слезы матери, в темной улице повторявшей слова: «Не понравилось...»

Часто мама, взойдя к нам в детскую, — как мы любили ее приходы, — читала нам рассказы Чехова, Чирикова, Телешова, книжки «Донской речи». Как мы боялись, что у мамы будет мигрень, помешает прийти к нам! А на другой день, изменив, как Дружок, мы с Андрюшей крались к посудному шкафу в передней (мама забыла ключи) и тащили к себе пирожные, как тот — окорок... А потом слезы — мамины, наши...

Болезни. Это была совсем особая жизнь. Ничем не похожая на обычные дни — точно все куда-то уехало. Нет, это ты уезжал каждый раз в знакомое по прошлому разу царство. Полутьма, затененная лампа, запах и вкус лекарства. Жар и боль головы. Мечешься... Голоса. Все пропало. Просыпаешься, встать не можешь. Мама, ложка лекарства, рот отворачивается. Слезы; у подбородка мокро. И опять все пропало, и опять тот пустой сарай, и нитка дрожит и тянется, и ты с ними один, и тот, уже быв-

<sup>1</sup> — Но, но... ведь это же — мятеж!

— Нет, сир, это — Ре-во-лю-ция! (*франц.*).

ший, ужас держит, и некуда из него уйти. Знаешь, что сейчас, вот сейчас будет еще страшней. Н е т спасенья! У тебя нет ни ног, ни рук, в е с ь гла- за и боль головы, которая наполняет сарай. Нитка подымается и дрожит, от нее нельзя оторваться. Как они все бросили меня одну с ней? Ближе. Наваливается. Нечем дышать. Пустота сарая уже позади тебя и вокруг, ты — в ней. Но пока нитка висит, еще м о ж н о . Если она оборвется — конец... Голос доктора (детский доктор Ярхо) где-то над головой. В ма- миной руке — термометр. Сейчас мама заденет им нитку — я кричу, это не мой голос... Они не понимают, не видят! Круг от лампы делается свет- лей — я проснулась или я засыпаю? «Сорок, одна десятая» (голос мамы). Термометр под мышкой — плывет... Все пропадает.

...Были копилки. (Зачем? Кто их выдумал?) Глиняные: когда они будут полны, их разобьют и деньги из них высыплются. Копейки, две, три, пятак, много темных, некоторые чуть золотистые по кра- ям, сбоку. Иногда вдруг одна золотая — это «новая». Нельзя оторвать глаз! И спускаешь ее осторожно, прощаешься, в длинную узкую дыр- ку. Гувернантка говорила: «Копи, а накопишь, купишь себе куколку!». Что мы куколок ни за что не купим, про то знали мы (что понимает гувернантка! Она все детство, наверное, проиграла в куклы!). Нет, мы купим — альбомы, перочинные ножи, ту шкатулку в окне, книги... Мо- нетки, которые давали нам старшие, падали с глухим звоном внутрь. Там уж, наверное, много их, целое монетное царство, гора! Как в подзе- мелье у Гауфа. У Муси копилка была собака, коричневая с черным. Дыр- ка была у нее между ушей. У меня кошка, серая, с голубым бантом — он уже совсем темный. У Андрюши — конская голова, она тяжелее наших.

И вот настал день — монетка не лезет. Копилка — полна! Как билось сердце: для того чтобы увидеть деньги, надо р а з б и т ь копилку! Ни Муся, ни я — не могли. Разбивал, зажмурясь, Андрюша или гувер- нантка. Ни Лёры, ни мамы почему-то не помню при этом. Стук, паде- нье, треск — и какое отчаянье! Мокрые от слез руки пытались узнать в кучке глиняных обломков — погибших кота, пса... Ноги убегали под рев наш от места гибели. Я не помню ни счета монет, ни — пошук. Это, может быть, было всего — раз? Разве можно было о п я т ь — ради денег — разбить насмерть собаку или кошку? Своей волей их уничто- жить? Чудовищность такого конца повторенью не подлежала.

Не в тот ли день детского горя родилось Маринино и мое отвраще- нье к богатству, подозрение, что оно, как те монеты, купалось в слезах...

Одно из удивительных впечатлений детства был фотограф. В Москве ли кто-то нас снимал, во дворе, под кустами желтой акации, или в Тарусе, на площадке перед домом, между тополей, — обладатель фотографическо- го аппарата был таинственен и чем-то напоминал Чернилку из гофманов- ской сказки: он вдруг исчезал под куском черного сукна, став сразу меньше, нагнувшись, и начинал двигаться к нам, неся на себе высокий треножник,